

Александр Вергелис

ХОЧУ ББИТЬ НЕГРОМ

Я открыл дверь, и Нина закричала.

«Ну-ну, милая, ты ведь уже не боишься врачей, правда?» — собрался было сказать я, но подняв глаза, вздрогнул и промолчал.

За столом сидел негр. Ослепительно белый халат с неизменным стетоскопом в кармашке безжалостно подчеркивал его гудроновую черноту. Детский врач был черен, как мои ботинки, упакованные в нежно-голубые бахилы. Макушку его покрывали мириады микроскопических завитков. Нижняя часть лица пряталась под маской, неподвижные глаза смотрели вопросительно и сурово. Так смотрит мавр на свою Дездемону в последнем акте, перед тем как...

— Садисты! — сказал он укоризненно.

Секунды три я стоял, виновато и вопросительно глядя на него, пока, наконец, не догадался: мне было предложено сесть.

— Садитесь! — повторно прошуршало сквозь маску.

Нина билась в моих руках, как раненая птица.

«Вы не подумайте, она не расистка», — хотел было пошутить, да не стал. Впрочем, видно было, что к подобным реакциям он давно привык.

— На что жалуетесь? — Его бархатистый русский язык шелестел, как, наверное, шелестят на вечернем ветру листья в банановой роще.

Что это за акцент? Сыном какого из африканских народов является этот эскулап? Быть может, эфиоп? Черты лица у него тоньше, чем у большинства чернокожих, которых мне доводилось видеть. Узкий нос и, наверное, не очень толстые губы... Но какой все-таки черный! Нет, пожалуй, не эфиоп...

На что жалуемся? Я протянул ему регистрационный талон. Сопли. В смысле — насморк. Жар. В смысле — высокая температура. Ка-шель. Я старался произносить слова по отдельности и как можно четче. Он вздохнул и взял ручку.

...Мир за окном был выбелен до слепоты. Снег был повсюду. Он заполнял собой все пространство. Собственно, он и был пространством.

Мир был сделан из снега. Не огонь, не воздух, не Логос был в основе всего сущего, как полагали элины, а снег.

Там, за окном, снег совершал несколько действий одновременно: лежал, падал, взлетал, свисал, как края одеял, с крыш и карнизов. И вот в этой кромешной белизне, в этом сволочном холоде, от которого даже я, сын Севера, уже был готов лезть на стенку, существовал этот экзотический человек. Как этого парня занесло сюда, в детскую поликлинику петербургского спального района? Глупый вопрос — учился здесь, да и остался. У него, наверное, русская жена. Глядишь, через несколько поколений народится на свет какой-нибудь кудрявенький смуглый шалопай и воскликнет о себе на безупречном русском: «Ай да сукин сын!»

Ну, Ганнибал, что скажешь? Следя за его черной, с голубоватыми ногтями рукой, заполнявшей аккуратной кириллицей страничку медкарты, я проникся к нему уважением: учиться на медика дьявольски сложно и долго, а тут еще и на чужом, не самом простом языке... Молодец, африканец! А почему, собственно, африканец? Может, он с Кубы? Да мало ли где живут негры! Но нет, акцент именно африканский. Такой ни с каким другим не спутаешь.

Что мы знаем о них? Что мне известно об Африке? Огромный, прожаренный солнцем ломоть суши. Реки вот такой ширины, горы вот такой вышины... Обезьяны, кашалоты и зеленый попугай... Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре... В Африке ужасно! Да, да, да! Говорят, колыбель человечества. Кстати, почему, оперируя словом «человечество», я мысленным взором вижу одну и ту же картинку: благородное собрание белых джентльменов (главным образом мужчин!) с интеллектуальными лицами, в костюмах-тройках и при галстуках... Почему белые? Одних только китайцев — я где-то читал — чуть ли не двадцать процентов. Каждый пятый житель планеты — китаец! А ведь есть еще японцы, корейцы, индейцы. Эскимосы. Папуасы. И — да, негры. Самых разных видов и расцветок — от гуталиново-черного до цвета кофе с молоком. Интернет утверждает: азиаты и африканцы составляют 80 процентов населения Земли. Окрас человечества — черно-желтый с небольшой примесью белого.

Он смахнул маску, под которой в усталой полуулыбке взлетали уголки не слишком толстых, но и не сказать чтобы тонких губ. Две

половинки его физиономии сложились в молодое утомленное лицо. Мирровая скорбь тускло светилась в его зрачках.

Дети болеют часто. В прошлый раз нас принимала луноликая красавица в зеленом хиджабе. Потом в этом кабинете сидел златозубый человек, похожий на продавца арбузов. Там, возле аквариума регистратуры, висит доска с расписанием приема врачей. Среди мужчин — ни одной титульной фамилии. Среди женщин попадаются. «А что вы хотели?» — говорили мне грустные черные глаза. Усталые губы тем временем продолжали задавать вопросы.

Негры — не такая уж большая редкость у нас в Гиперборее: вот, например, позавчера в метро навстречу мне попались два курсанта в шапках-ушанках. Занятные типы, доложу я вам! Будущие стратеги с лицами профессиональных комиков. Есть у них там, в их училище команда КВН? У одного, толстоморденького, в улыбке обнажались большие квадратные зубы с широкими промежутками. Другой был тонконог и длинношей, как болотная птица. Прелестный мог быть дуэт: «Толстый и тонкий». Или — «Бегемот и цапля». Они от души гоготали. Давились со смеху. Подозреваю, что предметом их шуток были мы. Да, мы, белые — не столько белые, сколько бледные — выглядим смешно: точнее, смотря на нас, хочется плакать, но уж лучше смеяться. Я глядел на изможденные, заспанные лица соотечественников, едущих со мной на работу. Какие чувства они вызывают? Что угодно, только не смех...

А эти — сколько в них жизни! Но неужели их планида — всю жизнь носить форму, делать военную карьеру в какой-нибудь несчастной Нагонии? И — воевать, вероятно? С такими же, как они — белозубыми и жизнерадостными. Устраивать военные перевороты. Устанавливать диктатуры. В общем, показывать друг другу кузькину мать. Эй, парни! Снимайте свои кокарды, срывайте погоны...

Нина понемногу успокаивается. В ее заплаканных глазках появляется любопытство. Я слежу за длиннопалой рукой, продолжающей выводить круглые ровные буквы, и ноздри мои вздрагивают от запаха морских водорослей, а во рту появляется солоноватый привкус.

Это Черное море угрюмо взбалтывает свой мутный рассол. Оно недовольно, Черное море. Ночной шторм вывернул его наизнанку,

вытряхнув на пляж сокровенный мусор: осколки раковин, измочаленные ошметки подводной растительности, плотно закрытые лакированные шкатулочки мидий. Это Одесса. Здесь я чуть не утонул, в Одессе. Море долго играло со мной, как кошка с мышкой: сбивало с ног, хватало и тащило на глубину, потом возвращало на прежнее место и хватало снова. Спасенный и отруганный, я сижу на топчане. В животе урчит от морской воды. Песок и мелкие камешки у меня в ушах, во рту, в плавках. Мне уже не страшно, смерти в мире еще нет. Разноцветная цыганка ходит по пляжу и предлагает самодельные палочки из жженого сахара, нараспев расхваливая свой подпольный товар: «Конфеты вкусные, конфеты ароматные...» Мне мучительно хочется попробовать эти палочки, меня завораживает слово «ароматные», но мама делает страшные глаза и сует мне в рот кукурузу с солью. С чего вдруг нахлынули эти волны? Зачем Одесса, почему Одесса? Ах да, ведь Одесса — это не только море, цыганка, кукуруза. Это еще и негры.

Там их много было, особенно на пляже. Молодые, ловкие и веселые, вот они обнажают белые зубы в широких улыбках, вот они лупят по волейбольному мячу, вот они бегут по бетонному пирсу и один за другим бросают в зеленую волну свои тела цвета гематогена. Навсегда отпечатались в памяти фраза отца, произнесенная с назидательной важностью: «Все негры — превосходные пловцы и ныряльщики». О, папа, я хочу быть, как негры! Я хочу быть негром!

С детства я знал: негры — не совсем люди. Они лучше просто людей. К ним следует относиться с особой бережностью. Им нельзя предъявлять общие требования. Их можно только жалеть и защищать. Потому что их угнетает американский империализм. И в ЮАР — этот, как его... «апартеид». Об этом рассказывали и суровые дикторы в вечернем телевизоре, и на политинформации по понедельникам перед уроками.

Мама все подсовывала нам с братом «Хижину дяди Тома». Но у меня была другая любимая книжка, тоже про Тома — «Черный новичок».

*Городок у берега,
Пальмы, пальмы, пальмы...
Мы с тобой в Америке,
Вот куда попали мы.*

Помню, как плакал над ее страницами. Особенно горько над той, где был нарисован негритенок Том, сидевший на асфальте, растиравший слезы по черным щекам. Рядом валялась чернильница, из которой вылилась синяя лужица — эта чернильница мучила меня сильнее всего. Она до сих пор стучит в моем сердце... Мальчишка собрался в первый раз в первый класс, а белая сволочь — весь южный городок всполошился, зашипел, встал на дыбы. Словом, не пустили мальчишку учиться. Я собирался написать бедному Тому письмо, пригласить в СССР, где все народы братья и всех детей пускают в школу. Но где было взять адрес? Адрес мог знать только Брежнев, и я сел писать письмо Леониду Ильичу. Для наглядности нарисовал нас с Томом: мы идем вдоль кремлевской стены, мимо Мавзолея, взявшись за руки, к большому дому со множеством окон, над входом в который большими буквами было написано: «Школа». Тома я изобразил коричневым карандашом, себя — желтым. Конверт с пометкой «В Кремль. Товарищу Брежневу» был опущен в почтовый ящик. Через несколько дней город наполнился тоскливым гудом: гудели заводы и фабрики, басили суда в порту. На Невском, под нашими окнами им подвывали клаксоны автомобилей. Брежнев умер.

Я мечтал подружиться с каким-нибудь негритенком. Однако негритята в Ленинграде, как и всё тогда, были в большом дефиците. Единственный известный мне мальчик-негр, да и то наполовину русский, был Патрик — но он учился уже в десятом, а я еще в третьем. Патрик был высок, тонок и грациозен, словно сказочный принц. Но рожден он был не для скучного царствования, а ради виртуозных дриблингов, молниеносных передач, умопомрачительных перехватов и снайперских бросков. Мы специально ходили смотреть на то, как он носится по залу, с невероятной меткостью загоняя в корзину длинные, надолго запирающие дыхание зрителя трехочковые. Я хотел быть, как Патрик. Мы все этого хотели.

Неудивительно, что моя взбалмошная и расточительная память, выбросившая целые куски моей жизни в гулкий мусоропровод небытия, бережно сохранила эти обрезки киноплёнки, совершенно не потускневшие за прошедшие десятилетия. Особенно хорошо сохранился вот этот фрагмент: коричневый Патрик с похожим на огромный апельсин мячом в длинных пальцах медленно взлетает к потолку спортзала и, в полете аккуратно положив мяч в корзину, повисает на кольце. Остановись, мгновение! Но вдруг — крррак! — баскетболь-

ный щит разрывается напололам, подобно листу картона. Как черт из табакерки, выскакивает из своей каморки учитель физкультуры. Немая сцена. Все замерли. Сейчас начнется извержение Везувия. Но ни воплей, ни стенаний по поводу порчи казенного имущества! Наш физрук — живой символ умиротворенности. Он подходит к Патрику и, бережно взяв за плечо, что-то вкрадчиво говорит ему. Набедокуривший мулат виновато улыбается.

Дежурный Айболит вынимает из нагрудного кармашка стетоскоп. Я задираю дочке рубашечку, ожидая нового взрыва рыданий, но фонтан слез неожиданно иссякает — словно загипнотизированная, Нина смотрит перед собой. Стетоскоп, водимый черной рукой, покачивается, как кобра, описывает в воздухе магические круги, затем начинает неторопливо обшаривать ее бледную грудку с едва различимыми сосочками. Так, так... А теперь спинку... Только бы не заорала... Но — ни писка, ни всхлипа — лишь терпеливое сопение. Все, можно одеваться. Так вот ты какой, волшебник из Магриба!

Нас учили любить негров, равно как и индейцев. Особенно старался телевизор. В старом, еще довоенном фильме «Пятнадцатилетний капитан» на стороне сил добра был мужественный чернокожий силач по имени Геркулес. Был там еще пьяница-вождь и прочие дикари, но эти не в счет — обманутые белыми колонизаторами, они со своими черепашками и барабанами стояли по ту сторону добра и зла. А еще были «Максимка» и «Цирк»... Но с каждым годом мир становился сложнее. Новые грани действительности открывала книжка «Зулус Чака», подаренная соседкой по парте по случаю 23 февраля. Это про то, как «король» по имени Чака устроил у себя в Африке свою собственную Спарту и всех победил. Написал книжку англичанин. Англия воевала с зулусами. Я, конечно, болел за зулусов. Немного смущали их обычаи — например, казнить провинившихся через заколачивание деревянных колышков в задний проход. Чака был скор на расправу и вообще имел крутой нрав. Когда умерла его мать, Великая Слониха, он решил проверить, насколько велика скорбь о покойнице в рядах вооруженных сил. Чака выстроил своих истомленных длительным воздержанием воинов напротив толпы голых девиц, заставив последних танцевать зажигательный брачный танец. Всех, у кого обнаружилась эрекция, а таких было много, ждала смерть через колышки. Не бе-

речь описать, что творилось в голове того пубертатного недоростка, склонившегося над страницами, отмечу лишь, что реальность продолжала раздвигать свои границы, африканцы все более становились похожими на обычных людей — со всеми присущими им, обычным людям, мерзостями и глупостями. И все-таки оставалось еще что-то нерушимо светлое в том изначальном образе чернокожего человека, который жил в моем сердце.

Потрясением основ стала «Бездна». Носителями абсолютного зла в этом фильме были негры. Черные бандиты, отправлявшие культ вуду, производили пугающее впечатление. Болеть приходилось за белых авантюристов-кладоискателей. Это переворачивало сознание. Из кинотеатра я вышел с ощущением утраты невинности.

А вокруг закипала Перестройка. Вслед за Дедом Морозом в черную дыру, в космический вакуум ушел друг угнетенных народов Ленин, оставив в гранитном зиккурате на Красной площади своего усохшего злого двойника. Познание умножало скорбь. Мир чернокожих оказался полон чудовищ. В нем существовали не одни только Лумумба и Мандела, но и Бокасса с Дювалье.

Я больше не хотел быть негром.

Ритуал медицинского осмотра подходит к концу. По страничке медкарты рассыпались круглые буковки. Лекарства выписаны, рекомендации даны. Врачебный долг исполнен, равно как и долг родительский. Спасибо, док. Ну, мы пошли?

Я прикрываю за собой дверь и следую в гардероб. Там в зеркале я вижу мужчину лет сорока с маленькой девочкой на руках. Мужчина небрит и помят. Его рот раздирает счастливая улыбка.

Это я улыбаюсь, как идиот? Это не я, это непослушные лицевые мышцы — и малая скуловая, и большая, и мышца радости, и мышца смеха, и мышца удовольствия, и мышца умиления и что там еще — сведены долгой судорогой улыбки. Ну надо же... Негр! Кстати, это слово еще можно употреблять? Это еще не предосудительно? «Негр... Негры...» — шепчу я, с удовольствием валяя эти слова во рту.

При слове «негры» — да, именно во множественном числе — мои ноздри опять вздрагивают — на этот раз от запаха городской сирени. Та, что сводит меня с ума одним взглядом очей своих, одним ожере-

льем на шее своей, снова ускользает от меня. Куда ты, лилия долин? В какие дали повезет тебя этот раздрызганный трамвай?

Я провожаю его взглядом, едва сдерживаясь, чтобы не побежать вслед за ним по рельсам. Солнце мое, взгляни на меня! Я болен, я отравлен. Дозиметры зашкаливают. Колоссальной силы излучение заставляет светиться все, что с ней соприкасается, хоть как-то с ней связано. И вот уже я нежно влюблен в ее далекий панельный район, мне милы обитающие в нем собаки, алкаши и гопники, и вот уже я чувствую, как дороги мне ее родственники, друзья и знакомые. Даже этот случайный трамвай-разлучник мне как родной — только потому, что в него вошла она. Весь мир...

Но что такое мир? Нечто условное, умозрительное. Как такового мира не существует. Лишь облюбованная ею часть мирового пространства обладает подлинным бытием. В действительности есть только Невский проспект (особенно та сторона, что при обстреле наиболее опасна), загадочные Озерки, облетающие в вечность золотые сады — Юсуповский, Александровский, Летний. Еще есть берега Маркизовой лужи, Карельский перешеек с тихим печальным ручьем у янтарной сосны. Остальное — мираж, пелена Майи. Но ойкумена непрерывно расширяется. Из пустоты сотворен Пушкинский заповедник и древний Псков, куда мы едем всем классом. Где-то далеко из первозданного хаоса поднимается Крым, о котором она упоминает вскользь, заново творя Вселенную, давая названия предметам и явлениям, даря имена живым существам. Мое собственное имя переозвучено, переосмыслено, оно умерло и воскресло у нее на устах.

— Саш...

Я сам тысячу раз умер и воскрес.

Не только пространство, но и время... Собственно, время началось семнадцать лет назад, в декабре 1976 года. Она родилась в упомянутых выше месяце и году в маленьком эстонском городке с занятным названием. Я тяну, я на разные лады пою это свистящее, зевающее, это лениво мяукающее слово: Силламяэ. Я жадно изучаю историю с географией, я ищу этот город на карте — вот он, рядом с только что возникшей российско-эльфийской границей, на берегу залива. Дрожа от сладострастия, впотьмах лезу я по шатучей стремянке к растрепанным корешкам перетасованной, не по порядку расставленной Большой советской энциклопедии. Лампочка в коридоре, где Пизанской башней падает и все не может упасть книжный стеллаж, перегорела,

чахлый фонарик выхватывает загадочные слова: ботокуды, элодея, татартуп, сигишоара... Да, Сигишоара! Вот он, нужный том! Если в нем нет статьи о городе Силламяэ, я разорву все пятьдесят томов в клочья. Что? Нету! Не может быть... Есть всякая чепуха, всякая мелочь, какая-то там Сигишоара есть, а главного — нет! Что же мне делать? Если я не найду хоть что-нибудь, я умру — прямо здесь, на стремянке. Ну, хоть что-нибудь! Дайте мне тогда всю Эстонию. Скорее, вот этот том, «элоквенция — яя». Я — это поселок городского типа в Кемеровской области. Поселок! А целого города — нет! Слава Богу, есть Эстонская Советская Социалистическая... Я бегу к письменному столу, к лампе. Сейчас, сейчас... Общие сведения, государственный строй, физико-географический очерк... коммунистическая партия Эстонии... дальше, дальше. О Господи... Что это? На маленькой гравюре я вижу ее глаза! Нет, нет, я просто схожу с ума. Я в смятении захопываю тяжелый чернильного цвета том и, помедлив, снова раскрываю на заветной странице.

Я еще раз — по буквам читаю название статьи. Все верно. Эстонская ССР. Тогда при чем эта головка в косыночке и эта верблюжья морда? Нет ли тут ошибки? Почему прибалтийскую республику представляют этот ближневосточный ребенок и этот зубастый — то ли хитро улыбающийся, то ли страдальчески сморщившийся верблюд? В Эстонии водятся верблюды? Все просто. Это — картина эстонского художника. Называется «Девочка-берберка». Я смотрю на круглое личико, и мне кажется, что это — она. Нет, сходство весьма отдаленное. Но глаза. И эти напряженные губы.

...Черна она, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на нее, что она смугла, ибо солнце опалило ее...

Я настолько безумен, что начинаю интересоваться берберами. Они мне теперь почти родные, как и эстонцы. Я становлюсь неравнодушен и к верблюдам. Меня всерьез беспокоит вопрос: куда, на что она там смотрит своими дивными глазами, эта девочка? Вроде бы на верблюда. Но в то же время как бы сквозь него. Так куда устремлен ее взгляд? На вершину горы? На первую звезду? На облако, из которого, быть может, прольется долгожданный дождь? А что если она видит знамение? Пролетающего мимо ангела? Мне хочется обернуться и посмотреть туда же. Определенно я схожу с ума...

Я хочу рассказать ей об этом странном сходстве, но она опять ускользает от меня. Куда же ты, куда? Она едет к неграм.

Ее чертовы негры обитают в каком-то старинном здании, под какой-то лестницей, в какой-то каморке. «В каморке, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль...» — напевает она. Да, ансамбль. Но не школьный, а студенческий. Там, под лестницей они играют на своих инструментах, пьют дешевый портвейн, курят травку, философствуют и презирают обывательское болото.

«Они что, взаправду негры?» — интересуюсь я. «Нет. Просто они так себя называют», — задумчиво улыбается она. «А почему они так себя называют?» — занудствую я. В ответ она пожимает плечами: «Да как бы это сказать... Ни почему. Просто так». Да нет, не просто так. В этом слове — пощечина общественному вкусу. Это кураж, это вызов легиону угрюмых филистеров — таких, как я.

«Негры» то ли с философского, то ли с филологического факультета. Они живут другой жизнью. Я злюсь на них за то, что они похищают у меня мою берберку. И все же — априори восхищаюсь ими, даже, наверное, люблю их — как все, что любит она. К тому же где-то в глубине я тоже негр.

Занятно, что главарь, то ли виолончелист, то ли контрабасист, носит фамилию из школьной программы по литературе. То ли Раскольников, то ли Базаров, то ли Карамазов. В конечном итоге, она выходит за него замуж — полагаю, не из одной любви к русской словесности. Но это будет потом, через много лет, а пока — я смотрю ей вслед и не знаю, какая впереди у меня длинная и бестолковая жизнь. Я думаю о ней и ее неграх. Я тоже хочу быть негром.

Иногда я чернею на глазах, я наливаюсь животворной, благодатной, горячей чернотой, становлюсь упруг и грациозен, словно Патрик. Это бархатный мрак южной ночи обливает меня, проникает сквозь кожу внутрь, насквозь пропитывает мою плоть. В такие минуты я чувствую радостную легкость существования, я ощущаю родство со всем человечеством — разноцветным, разномастным, — а еще с верблюдами, крокодилами, бегемотами и зеленым попугаем. Таким, только таким она могла бы впустить меня в свою жизнь. О, если бы это состояние длилось всегда! Но всякий раз, трезвея, я возвращаюсь в свою исконную белизну, в лунную бледность вечного одиночества.

Вот уже четверть века я не могу избавиться от ощущения, что проживаю чужую жизнь. Вероятно, мое спасение нарушило продуманный там, в высях, распорядок действий. Возможно, мне суждено было утонуть в Черном море и навсегда остаться тем мечтательным

недомерком, собирающим ракушки в полиэтиленовый пакетик. Впрочем, таковым я и остался: брожу, мечтаю, собираю безделки. Значит, я действительно тогда утонул, и вся моя последующая жизнь — всего лишь видение, галлюцинация задохнувшегося мозга? Как бы то ни было, мне порой кажется, что моя настоящая жизнь где-то не здесь. Быть может, она — там, куда навсегда увез мое берберское солнце дребезжащий трамвай.

Но пора возвращаться. Из детской поликлиники, из того летнего дня с запахом сирени, где я стою, растерянный и несчастный. Я выхожу в снег, в мировую метель, в свой сорок первый невероятный год. Я возвращаюсь в свое настоящее, которое ни на что не променяю.

Пока я несу мою девочку домой, она засыпает.

